

Ф. Абрамов. Собачья гордость

Лет двадцать назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир!

Северянин клял вдвойне.

Зимой — недельная мука на санях, в стужу, через крошечные ельнички, чуть-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето — тоже не лучше. Мелководные, порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающийся три-четыре километра в час, постоянно садится на мель: дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня, — тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье... Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Батог в руки, котомку за плечи — и бредут, стар и млад, лесным бездорожьем, благо и ночлег под каждым кустом, и даровая ягода в приправу к сухарю. Не то сейчас...

Я люблю наши сельские аэродромы. Людно — пассажир валит валом; иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля: крутит себе, не связанный никакими причудами местного расписания...

А все-таки хорошо! Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства...

Так-то раз, в ожидании самолета, бродил я по травянистому берегу Пинегы[1], к которой приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом, кто резался в «дурака», кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты.

Вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубахе с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись, в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми, измученными глазами.

— Не узнаёшь?

Человек поднялся, смущенно поправил помятую рубаху. Бледное, не тронутое загаром лицо его было страшно изуродовано: нос раздавлен, свернут в сторону, худые, впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами...

— Ну как же? Егора Тыркасова забыл...

Бог ты мой! Егор Тыркасов... Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но... Просто не верилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек — тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы.

Жил тогда Егор по одной речке, на глухом выселке, километров за девяносто от ближайшей деревни. Леса по этой речке, пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей, а сама речка была забита рыбой. Каждую зиму, обычно под Новый год, Егор выезжал из своего логова, как он любил выражаться, в большой свет, то есть в райцентр. Никогда, бывало, не знаешь, когда он нагрянет. Вечер, ночь ли — вдруг грохот под окном: «Ставьте самовар!» — и вслед за тем в белом облаке заиндепевший, но неизменно улыбающийся Егор. И уезжал он так же неожиданно: загуляет, пропьяется в пух и в прах — и поминай как звали. Только уж потом кто-нибудь скажет: «Егора вашего видели, домой попадает».

— Да, брат, — сказал Егор, когда мы уселись под кустом, — с войны вернулся как стеклышко. Хоть бы царапнуло где. А тут медведица — будь она неладна... А все из-за себя, по своей дурости. Подранил — хлопнуть бы еще вторым выстрелом, а мне на ум шалости. Так вот, не играй со зверем! — коротко подытожил Егор, как бы исключая дальнейшие расспросы.

Я понял, что ему до смерти надоело рассказывать каждому встречному все одно и то же, и перевел разговор на нейтральную, но всегда близкую для северянина тему:

— Как со зверем нынче? Есть?

— Есть. Куда девался. Люди бьют.— Егор натянуто усмехнулся: — Для меня-то лес заказан. На замке.

Я понимающе закивал головой.

— Думаешь, из-за медведицы? Нет, после того я еще десяток медведей свалил. Руки-ноги целы, а рожа... Что рожа? На медведя идти — не с девкой целоваться. Нет, парень.— Егор глубоко вздохнул.— Утопыш меня сразил. Так сразил... Хуже медведицы размял... Пес у меня был, Утопышем назывался.

— Да ну?!

— Лучше бы об этом не вспоминать. Беда моей жизни...

Но в конце концов, повздыхав и поморщившись, уступил моей настойчивости.

— Ты на нашем-то выселке не бывал? Речку не знаешь? Рыбная река — даром что с камня на камень прыгает. Утром встанешь, пока баба то да се, ты уж с рыбой. Ну вот, лет, наверно, семь тому назад иду я как-то вечером вдоль реки — сетки ставил. А осень — темень, ничего не видно, дождь сверху сыплет. Ну иду — и ладно, в угор надо подыматься, дом рядом... Что за чемор,— Егор, как человек, выросший в лесу, очень деликатно обращался в разговоре с водяным и прочей нечистью,— что за чемор? Плеск какой-то слышу у берега. Щучонок разыгрался или выдра за рыбой гоняется? Ну, для смеха и полоснул дробью. Нет, слышу опять: тьяп-ляп. Ладно. Подошел, чиркнул спичкой. На, у самого берега щенок болтается, никак на сушу выбраться не может. А загадка-то, оказывается, простая. У соседа сука щенилась — пятерых принесла. Ну, известное дело: одного, который побойчее, для себя, а остальных в воду. Я уж после это узнал, а тогда сжалился — больно эта коротыга за жизнь цеплялась! Дома, конечно, ноль внимания. Какой же из него пес? Я даже клички-то собачьей ему не дал. Митька-сынишка: «Утопыш», и мы с женой: «Утопыш». Иной раз даже пнешь, когда под ногами путается. И вот так-то — не помню, на охоту, кажись, торопился — занес на него ногу. А он — что бы ты думал? — цоп меня за валенок. Утопыш — и такой норов! Тут я, пожалуй, и разглядел его впервые. Сам

маленький — соплей перешибешь, а весь ошетинился, морда оскалена — чистый зверь. И лапа широкая — подушкой, и грудь не по росту.

«Дарья, — говорю это женке-то, — да ведь он настоящий медвежатник будет. Корми ты его хорошенько».

Ну, Дарья свое дело знает. К весне пес вымахал — загляденье! Только ухо одно упало — дробинкой тогда хватило. А у меня в ту пору медвежонок привелось — для забавы парню оставил. Сам знаешь, на выселке пять домов — ребенку только и радость, когда отец с охоты придет. Ну вот, вижу как-то, Минька медвежонок дразнит, палкой тычет. У меня голова-то и заработала. Давай псу живую науку на звере показывать. У самого сердце заходится — зверь беззащитный, на привязи, а раз надо — так надо. И до того я натаскал пса — лютее зверя стал, люди не подходи... Да, этот пес меня озолотил. Десять медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес — уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе или грудиной поставит — вот до чего умный пес был! И еще бы сколько зверя с ним добыл, да сам, дурак, пса загубил..

Эх, винище все!.. — вдруг яростно выругался Егор. — Баба иной раз скажет: «Что уж, говорит, Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются, а такого не придумают, чтобы мужика на водку не тянуло». Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста, верно, не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было: считай, и медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обряжается, сбегая, проверю капкан. Куда там. Еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала. На лесопункте, говорит, вино дают. А лесопункт от нас рукой подать — километров двенадцать. Как услышал я про вино — шабаш. Места себе не найду. Месяца три, наверно, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает — при ней соседка говорила. Знает своего благоверного. Слава богу, четвертый десяток заламываем. Как бы, думаю, сделать так, чтобы без ругани? И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает: «Что, говорю, женка, брюхо у меня разболелось. Эх урчит — хоть бы до двора добежать». Ну, вышел на крыльцо. Мороз, небо вызвезди-

ло. Да я без шапки в одной рубашке и почесал. А баба дома в переживаньях: «С надворья долго нету, заболел, видно». Это она уже после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо: «Егор, Егор!..» А Егор чешет по лесу — только елки мелькают. Ладно, думаю, двенадцать верст не дорога, часа за три обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну, а обратно привезли... Дорвался до винища, нашлись дружки-приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я как выпью — смиреннее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, славно счета предъявляет. А когда тверезый — тут по моим законам. Языком вхолостую поработает, а чтобы до рук дойти — нет. «Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое». Ну, а тогда обработала, а назавтра встал — себя не узнаю. Ино, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал — смотрю, а в избе как пусто. Все на месте, а пусто... Далее вспомнил: где у меня Утопыш-то? А так пес завсегда при мне.

«Дарья, говорю, где пес-то?»

«За тобой, наверно, ушел. Как сбежал ты со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал».

Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил: ведь у меня капкан поставлен! Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать — пороша выпала. Ну, а дальше плохо и помню... Подбежал к капкану, а в капкане заместо зверя мой Утопыш сидит... Вишь ты, ночь-то он хватился меня: нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака худо о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная и о хозяине так же думает. Ну, а след-то у меня к капкану свежий. Она, конечно, туда... Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему на встречу... «Ешь, говорю, меня, сукина сына, Утопыш...»

А он лежит у капкана — нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе говорил: пес у меня зверее зверя был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать: я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Так он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз... Ну, приполз я к нему. «Загрызай, пес! Сам погубил тебя».

А он знаешь что сделал? Руку стал мне лизать... Заплакал я тут. Вижу — и у него из глаз слезы.

«Что, говорю, я наделал-то, друг, с тобой?»

А он и в самом деле первый друг мне был. Сколько раз из беды выручал, от верной смерти спасал! А уж работающий-то! Иной раз расхлебнешься, на охоту не выйдешь — сам за тебя план выполняет. То зайца загонит, то лису ущемит. А то как-то у нас волк овцу утащил. Три дня пропадал. Пришел — вся шкура в клочьях — и меня за штаны: пойдём, обидчик наказан. Вот какой пес у меня был, и такого-то пса я сам загубил. Кабы он на меня тогда зарычал, бросился — все бы не так обидно. Стерпел бы какую угодно боль. А тут собака — и еще слезы надо мной проливает... Видно, она меня умнее, дурака, была — даром что речь не дадена. Уж он бы меня сохранил, до такой беды не допустил. Ну, вынул я его из капкана, поднял на руки, понес... Что — нога зажила, а не собака. Раньше на людей кидался, а тут сидит у крыльца, морду задерет кверху и все о чем-то думает. Я уж и привязывать не стал...

Ну, а у меня задание — план выполнять надо. Охотник — не по своей воле живу. Что делать. Купил я на стороне заместителя. Ладный песик попался, хоть и не медвежатник. Но белку и боровую дичь брал хорошо, — это я знал. И вот тут-то и вышла история... Привел я нового пса домой, стал собираться в лес. Вышел на крыльцо. «Ну, старина, говорю, это Утопышу-то, отдыхай. Больше ты находился на охоту».

Молчит, как всегда. Морда кверху задрана. И только я встал уходить с новым псом со двора, он как кинется вслед за мной. У меня все в глазах завертелось. Гляжу, а новый-то песик уж хрипит — горло перекушено... Знаешь, не вынес он — гордый пес был. Как это чужая собака с его хозяином на охоту пойдет? Не знаю, денег мне жалко стало — пятьсот рублей за песика уплатил — или обида взяла, только я ударил Утопыша ногой. Ударил, да и теперь себе простить не могу. Опрокинулся пес, потом встал на ноги, похромыкал от меня прочь. А через две недели подох. Жрать перестал...

Не знаю, может, я жилу какую ему повредил, когда пнул, да не долж-

но быть. Здоровенный пес был — что ему какой-то пинок? Бывало, сколько раз под медведем лежал, а тут от пинка. Нет. Это, я так думаю, через гордость он свою подох. Не перенес! Видно, он так рассуждал: «Что же ты, сукин сын, меня в капкан словил, да меня же и бьешь? Сам кругом виноватый, а на мне злобу вымещаешь. Ну, так ты меня попомнишь! Попомнишь мою собачью гордость! Навек накажу». И наказал...

Как умер, так я уже больше собаки не заводил. И с охотой распрощался. Без собаки какая охота, а завести другую не могу. Не могу, да и только. Баба ругается: «С ума ты, мужик, сошел. Без охоты чем жить будем?» А я не могу.

Да дело дошло до того, что я дома лишился. Выйду на крыльцо, а мне все пес видится. По ночам вой его слышу. Проснусь: воет.

«Дарья, — тычу ее в бок-то, — чуешь ли?» — «Нет», — говорит. А у меня в ушах до утра вой, и до утра глаза не закрываются. Стал сохнуть, с лица почернел. Ну, баба видит такое дело — надо мужика спасти. Дом на выселках продали, в деревню большую переехали. А я вот, — Егор развел руками, — рыбок у рыбзавода караулить подрядился.

Он снова закурил.

— Напрасно только баба старалась. Тоска одна с этими рыбками. Рыбки... Разве рыбки заменят охотнику лес? А в лес ступить не могу. Утопыш перед глазами стоит. Так вот и мучаюсь... В прошлом году в Архангельск к профессору ездил. Куда там! Все проверил, ринген наводил, анализы все снял. «Здоров», — говорит. По-ихнему здоров, а я жизни лишился... Вот теперь к старичку одному — под Пинегой живет — собрался. Слово, говорят, такое знает — от всего лечит...

Егор замолчал, отвел глаза в сторону.

— Как думаешь, поможет? — спросил он меня.

Я пожал плечами. Да и что я мог ответить ему, жаждущему немедленного исцеления?